

Леонид Немцев
Две Юлии

роман



издательский дом
ФЛЮИД
FreeFly



КНИЖНАЯ
ПОЛКА
ВАДИМА
ЛЕВЕНТАЛЯ

Леонид Немцев

Две Юлии



Москва • 2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84 (2Рос=Рус)6
КТК 610
Н 50

Немцев Л.

Н 50 Две Юлии : [роман]. – М. : Флюид ФриФлай, 2018. – 400 с. – (Книжная полка Вадима Левенталья).

Роман представляет собой историю любви. Образы двух девушек сливаются и мерцают в сознании рассказчика, и отделить одно чувство от другого так же трудно, как разделить на составляющие солнечный свет, — а главное, не нужно. Нужно быть таким рассказчиком, как Немцев — таким внимательным к внутренней форме слов и внешней — вещей, — чтобы подарить читателю чудо «объемного чтения»: когда, читая книгу, кожей чувствуешь дуновение ветра и качающиеся тени ветвей деревьев.

ISBN 978-5-906827-52-4

© Л. Немцев, 2018
© ИД «Флюид ФриФлай», 2018
© П. Лосев, оформление, 2018

*Посвящается
Андрею Анатольевичу Темникову*

Мне хотелось начать жить — и в этом ожидании не было ошибки. Я заранее был убежден, что не помнить и не различать прекрасное — залог обязательного несчастья. Два недуга, — которые я угадывал в себе, сдерживая их увертливость письменной работой, — мало похожи на чувства. Они, скорее, — следы невнимания и недоверия (или вторым слогом короче).

Мы многого не знаем, что происходит в нас, и все, дающее этому имена, обманывается и скучает. Две неприятности, касались ли они тугого устройства моего черепа или шли от неумолимой слаженности мира, слишком уж странно переменили мою судьбу — особенно уже случившуюся. А за ними, дальше, чем это казалось доступным, находились другие наваждения. Как новорожденный следит за бликами, которые вдруг могут набрать отчетливости и стать бутылочкой воды, очками, родным лицом, так я однажды начал вглядываться в два пятна света.

Обе они были для меня только Юлиями. Имя каждой из них по отдельности, начиная произноситься как безотчетный порыв поцелуя, растворяется в выдохе, будто что-то смутило целующего. И я был волен не оскорбить нежной попытки, не проходить мимо чего-то, прояснившегося для глаз, с усмешкой случайного привидения.

Самое лучшее, что происходит в мире, — это незаметный рост деревьев. Вот где не бывает ничего неожиданного и при этом неуклонно творится чудо. В то, что мы чувствуем как пугающий недостаток, как оскорбительную нехватку, — неспешно

натекает много высокой радости. Это потому, что нет прошлого, которое можно проверить, не пережив его заново, но есть нежность, которая всегда помнит о нас.

I

Какого же сострадания достоин тот, кто, будучи несчастным в любви, несет в своей крови несколько больше тестостерона, чем рядовой романтик. Его горькие глаза особенно одиноки внутри пещерных глазниц, а под рваным румянцем гуляют отчаянные желваки.

Именно таким показался мне тихий мой соперник, неожиданно (как все, что творилось вокруг медлительной Юлии) вынырнувший между нами из цветущей и пахнущей арбузом волжской воды... Я, собственно, даже не заходил в нее, когда Юлия — с самой невинной демонстрацией своей безжалостной простоты (всегда ведь ведала, что творит) — настояла на моем прибытии на смрадный городской пляж в разгар пивного сезона, когда телесная лавина накатывает на песчаный краешек берега, взбивая нечистую пену вдоль Волги. Нигде человеческие глаза не выглядят так неприлично, как среди розово-бронзовой плоти и ярких купальников.

Тем летом мне было на зависть прохладно в укромном сумраке первого этажа, в тени рябин и вширь разросшегося тополя. Форточка днем оставалась плотно закрытой, от зноя и пыли это спасало, а комары знали, что стоит дожждаться вечера. Я целыми днями читал при свете светильника, обложенный подушками — для кратковременных провалов в сон — и яблоками, от глянцевого поцелуев которых просыпался. Но в то время я невольно радовался урчанию только что поселенного у меня проводного телефона, а ее звонки были особенно редкими. В ее переходах с уютной обстоятельности на округлую скороговорку я все еще различал какую-то нарастающую радость. Мне так понравилась невольная щедрость ее прыгающего голоса, она просила подождать и что-то пела недалеко от трубки,

смех мешал ей закончить одну и ту же фразу. Я уже не мог восстановить гармоничную прелесть сонного своего покоя, моя книга легла на крупное яблоко и опустила крылья. Этого так много — какой-нибудь звенящий призыв, даже если она успела забыть, какой это праздник только что мне готовила. После неловких колебаний, я заранее облачился в плавки, а потом аккуратно снял с яблока и закрыл книгу. На случай, если не вспомню нумерацию разворота, я отметил про себя две блестящих вмятины на тексте и на графическом рисунке напротив (разумная лошадь, вставшая на дыбы перед лежащим человеком в камзоле). Но все это при любом условии забудется.

По пути на пляж я перестал радоваться коммуникативным дарам. Это был страшный путь, пересекавший восемь улиц, большей частью открытый бесчеловечному солнцу, пеший — потому что никакого прямого транспорта не было (впрочем Шерстневу как-то удавалось использовать троллейбусные зигзаги с двумя пересадками, он бодро прибывал всего на четыре минуты позже замученного пешехода). На горячем граните набережной я снял сандалии, и, пока сияющий ад жег мне ступни и глаза, здесь или там простоволосые юлии или юлии с заколотыми волосами в красных, салатových, полупрозрачных бикини или в сплошных мокрых купальниках выходили из воды, выжимая косу, или падали на колено, вытягиваясь за ракеткой и успевая подбросить в воздух воланчик вместе с рассеянной пленкой своих легких волос. Ее вожделенного подлинника — с русалочьим потоком, слегка обрисованной улыбкой и тяжелыми ресницами — я не нашел и потому безглаголиво сел на песок посреди голой толпы, которая шлепала резинками, глотала из мокрого стекла, сглаживала капли воды с гладких бедер. Иногда волейбольный мяч, сея в воду песок, разбивал на воде желтоватое кружевце.

Я начал бояться, что запамятовал за чуждым всплеском радости название того спуска к набережной, который мне был нужен. Я встал и еще раз медленно оглядел натянутые вокруг меня купальные костюмы.

Неожиданно с лежанки из полосок тростника, собирающихся в широкую пляжную сумку (только из клеенчатого кармашка еще надо вытрясти песок), подняли голову и меня окликнули (— щегольская вещь, эти мокрые тростинки вместе с полотенцем и купальниками оказываются внутри цветастой самобранки); это была уже не Юлина голова — густая копна волос та же, только остриженная в беспорядочное, неуправляемое каре (— забудешь такую сумку в коридоре, и наутро мокрые вещи задохнутся: женские почти тающие трусики и бюстгальтер с изогнутыми косточками, еще очарованно сохраняющий очерки двух затвердевающих во время купания пуговиц, а рядом — пересыпанные мокрым песком мужские плавки).

Она встала и подошла ко мне, удивляя не успевшей еще загореть, новой, беззащитной шеей, и еле заметным, почти улиточным закруглением вокруг пупка, и высоким кольцом талии, — всего этого — даже розового шрама на левом колене — я, наверное, никогда еще не видел. После вялого приветствия я почему-то с новым волнением и неверием продолжал оглядываться вокруг. Она уже при помощи растянутого щебета собиралась с мыслями, но ее как будто все еще не хватало. Темное жесткое тело в черных плавках, оставшееся на тростниковой лежанке, мне тут же было представлено, и с вежливой простотой для меня сразу прозвучало из дыма ее нового, обкраденного облика, что это ее жених. Все эти приличия были не очень интересны, я рассеянно оглядывался вокруг себя, и среди еще только спускающихся с гранита на песок мучеников, и за тучным атлетом, и за перемешанными, как змейки, школьницами, я все еще думал увидеть мою Юлию.

Жених был неуловимо похож сразу на нескольких киноактеров, по крайней мере, мне удавалось так думать. Мне странно сразу изучать лица представленных мне незнакомцев. Похоже, неловкость проходит только на тех встречах, когда моя неспособность припомнить их имя обижает существеннее, чем бесцеремонность разглядывания. Но у этого были веселые, добродушные глаза в безопасной прямизне белесых

ресниц — и все время эти глаза исчезали, будто боясь помешать чему-то незначительному вокруг. Они глубоко уходили в глазницы и ухитрялись там неухватливо суетиться. Я не запомнил этих глаз, но обрамляющие их суфлерские будки с полукружьем лепестков раковины да как-то весело разбредшуюся порось бровей я изучал долго и неотступно. Его загар был равномерно присыпан песком и веснушками, в несколько тонких рядов по бугристой спине шли белые воланы из недавно помертвевшей кожи. Когда он поворачивался, у него хорошо ходили высоко поднятые лопатки и завидно отполированный подбородок несколько раз взглянул на меня синеватой вмятиной.

Новый знакомый не очень смущал нас жаждой разговоров. Он, кажется, сказал что-то уместное и умеренно шутовское, не припомню, что это было, и продолжал облупляться на солнце. Юлия то купалась, то подбегала ко мне, и сквозь колючую майку я внезапно узнавал ее мокрую ладонь, а на мое вельветовое колено падали тяжелые капли. Я видел, что иная капля срывалась с хрупкой, слегка продленной косточки предплечья. А как она до этого стремительно сбегала, начиная путь еще из озера ключицы после наклона, потом перетекала, не доходя подмышки, на внутреннюю гладкость тонкой руки и только в дрожащем обороте по ней достигала локтя. А на моем колене все сразу тускнело. Жениха это не волновало нисколько, впрочем ему тоже доставался остаток холода с ее удивительно приятных ладоней. Он морщился, недовольно ворочался — похоже, это была прирожденная вежливость. Юлия смеялась.

Слишком уж много Юлия сетовала, что пальцы нельзя держать мокрыми все время: «Когда выходишь из воды, не видно ни одного заусенца, ногти идеально блестят!»

— А тут будет плохо, — сказал жених, защищая подушечку пальца, — если все время мочить.

Она была идеально естественна, но именно сейчас я удивляюсь этому приглашению к знакомству с ее неревнивым и добродушным избранником. Я и тогда уже мечтал сбежать, но

был оглушен, прежде всего тем, что обратный путь в гору представился мне невыполнимым в одиночку. Жених Юлии успевал быть более деликатным, чем я, и скрывался, замолкал, исчезал раньше меня. Мы не столкнулись ни плечом, ни взглядом. Его во всех отношениях удобное устройство не допускало какого-либо соперничества. И несмотря на отчаянную резь горячих плавок и другое неудобство, от которого легко избавиться в воде, я оставался на песке до окончания их купания, потом мы пили какао в одном из липких кафе.

Она мельком вспоминала знакомых. Штурман гастролировал с новой группой, Вальдшнепов хорошо смотрелся по телевизору, Никита по-прежнему в тяжелом состоянии, Блинова открыла магазинчик садовых гномов и водит машину. В Москве теперь не у кого будет остановиться, так как наша общая знакомая уходит в декрет и, кажется, вот-вот вернется домой. Сюда.

— Куда ты все время смотришь? — спросила она. — Давно с ней не виделся?

— Год-два, — я был не уверен, нужно было проверить записи.

— О ком это? — напомнил о себе жених.

Она ответила с затейливой дерзостью во взгляде:

— О Юлии.

— Выходит, — заметил он, недалеко ходя за шуткой, — я не все о тебе знаю. Живешь в Москве? А можно подробнее о декрете?

Тогда я понял, что ради этого известия (и немного — одним затупленным краем бытовой мстительности — ради сравнения меня с женихом) я и был вызван из вечного своего одиночества.

— Когда? — спросил я с безгрешной мягкостью великой благодарности.

— Сроки ставят на конец осени. Представляешь, у кого-то из нас уже будут дети! — и Юлия неустойчивым взглядом пифии взгляделась в свое незатейливое будущее, растормошила жениху волосы и тут же ласково их пригладила, шутливо вздохнув от бремени такой заботы.

— Его мама, — проговорила она мне, значительно поведя глазами в сторону моего соседа, — работает на фабрике детского питания и уже обещала поставлять нашим друзьям сухое молоко «Кибела». Это лучшее.

Снаружи кулака, на фаланге его безымянного пальца, была проставлена цифра 1, на среднем — 4, и обе с готической претензией, с еле уместившимися завитками, которые пошли уже расплываться. Армейская метка, — других татуировок я не увидел. Все время меня поражало, насколько его взгляд, осторожный, как у подростка, подходил неудачливому ухажеру. Он позволил бы мне все вольности, захоти я отстоять привилегии старого друга. Он вызывал мое невольное соучастие в течение пяти с лишним часов нашего беспечного гуляния (парк — набережная — автобус — парк — пыльная улица — скверик перед ее домом), а потом — в последние годы — я совсем не видел его. На их свадьбе это произошло потому, что я уступил место свидетеля жениха (а только на него меня и звали) Юлиному кузену из украинской деревеньки, а все его приезды — уже счастливого мужа — обходились без моего участия. Думаю, даже после заключения брака его взгляд сохранил эту подростковую диковатость, из-за которой он все время исчезал и посреди разговора, и из снов про Юлию, и этой юношеской пугливости не помешало ни утяжеление подбородка (печальная деформация для его биллиардной геометрии), ни брезгливое расползание губ, ни увеличение карьерного веса.

У ее супруга открылась странная профессия (а я поначалу определил его в цирюльники) — две трети года были заняты зарубежными разъездами по делам шоколадной компании, а по возвращении — огромные траты и подарки. Юлия сразу увольнялась со своей очередной работы, несколько недель бывали упрятаны в их комнате, обставленной цветами и редчайшими алкоголями. Новый отъезд мужа оставлял Юлию без куска хлеба в еще тлеющем начале депрессии, она становилась нудной, выносила из комнаты крошащиеся охапки роз, искала работу. Когда у меня появилась зудящая коробочка пейджера,

то на фоне более ядовитой, чем ее глаза, зелени всплывали рифмованные строчки. В ее распоряжении оставалось несколько дорогих воспоминаний, некоторые из них, как это ни странно, были похожи на мои и на меня переносились.

Какой же варвар-парикмахер все-таки решился это сделать? Я с трудом пережил укрощение ее волос, с которыми могло срезать половину моего мира (если верить Бодлеру в доступной мне части его лирики). Любому ветру приходится грустить о том, что он не трогает теперь таких волос, которые замедленной шелковой щекоткой сопровождали ее шепот. Она почему-то любила шептаться. Пленительная манера, никак не оправданная ни посреди улицы, ни в пустом автобусе, ни в глухой комнате, и я почему-то никогда не мог этого шепота разобрать, будто это были стихотворные импровизации.

Но была и другая — изначальная — Юлия, с которой через полгода я уже понадеялся снова увидеться. Ее родительный приезд не то чтобы возвращал меня к жизни, но мог значить для меня настоящее ее начало. Тот муж и его ребенок — были, конечно, единственной сутью истории, но я все еще ждал не истории, а себя самого.

Ламиеподобная Юлия, принявшая ни на что не похожую фамилию — Полтианская, такой магией прошла по моему миру, что мне, несмотря на мое существенное несовершенство в области мнемоники, удастся теперь собрать кое-что из тайн, находящихся вне моего беспамятства. Память должна храниться не в нас, а в тех вещах, которые для нас бесценны. В тех, кто бесценен. Оно и легче!

II

Я познакомился с Юлией в последние дни августа 1992 года, когда поэт Шерстнев — водяной знак с упраздненных купюр моей бедной юности — повел нас в развалины большого дома, вставшего в самом центре города. Медленный троллейбус становился еще осторожнее, уходя на боковую улочку

и отворачиваясь от четырех этажей, забитых фанерой или заложённых шифером. Оставалось несколько дней до начала моей студенческой жизни, я был счастлив обручением с хорошим вузом, а Шерстнев был опытнее меня на год и теперь представил мне свою однокурсницу. У нее не слишком ладилось с учебой.

В дом, который мы искали, Шерстнев попадал как-то ради одного стихийного концерта (жизнь юных интеллектуалов не ограничивалась тогда унынием исцарапанной гитары и каплями призраков, рисованных окурком, на штукатурке заброшенных подъездов). Именно Шерстнев знал, как можно проникнуть в этот небезопасный цеппелин, запаянный и замураванный со всех сторон уже пару десятилетий. Входом оказалась начинающаяся далеко от самого дома череда кирпичных гаражей, расположенная в пустынном внутреннем дворике. Надо было взбежать по широким зарубкам отвесного бревна, держась за отводную стену того же дома, за решетки его занавешенных окон, и по ковровой дорожке из рубероида скользнуть в окно второго этажа под уже отогнутый лист крашеного железа. Рухнувшие лестницы и битое стекло. Мы обходили комнаты вдоль разрисованных стен по осыпающейся кромке, тогда как в центре этих комнат зиял нижний этаж. Она сплетала ноги, заглядываясь на просвеченные потолки, по шее пробегала бледная венка.

— Волшебное место, — бормотала она, не опуская головы. Шерстнев грубо ловил ее у края шелестящей пропасти, и я уже начинал завидовать его проворству. — Здесь так хорошо было бы снять фильм. У меня есть знакомые актеры. Представьте только, как из вон той комнаты выходит флорентинец со свитком или дама начнет искать за этой самой кучей штукатурки своего горноста.

Ее кружение, танцующий шаг и душистая речь заставляли меня думать, будто мы видим не обнажённую дранку и концы ржавых труб по углам, не просто битый кирпич и коммунальную краску, а путти и апостолов, полустертые фрески среди

лепных листьев на потолке или, по крайности, оживающие линии животных в первобытной пещере.

Шерстнев с восторгом определял местонахождение уборных и даже указывал осколки желтоватой керамики в пыли. Она хохотала. На ногах ее были довольно высокие туфли со шпильками, ловко додавливающие остатки стекла на полу, штанины сиреневых брюк оканчивались с обеих сторон золотой ниткой по слишком уж восточному краю длинных разрезов. Меня всегда удивляла эта способность девушек не без удовольствия порхать среди куч мусора и ограничиться потом удалением пыльной паутины с белоснежного рукава. Когда мы выбрались на воздух и я вместе с Шерстневым снял Юлию с крыши гаража, мои брюки были облачно посеребренны пылью, Шерстнев счищал желтый мел с колена. Мы кое-как привели себя в порядок, откашлялись от пыли, но алмазная резь — изнутри моих глаз, бронхов, артерий — потом уже не переводилась.

Решено было изменить путь отступления. Вместо того чтобы сквозь влажные тени смрадной подворотни, перетекающие со стен на асфальт, выйти прямо в слякотный грохот переполненной улицы, мы сделали еще один альпинистский трюк и за скромным деревянным забором в глубине двора открыли запущенный заросший дворик. Блестящие со всех сторон стекла, осыпавшаяся вокруг парадного входа штукатурка. На корточках перед самодельной скамейкой равнодушно сидел пожилой кошмарик: в курении задействованы большой и указательный, — особый выверт запястья — интимной стороной черной ладони на себя, когда вместе с разодранной об губы лохматой ножкой сигареты в рот лезут свободные пальцы; особая манера стаптывать тапочки и замызгивать майку. И среди этого — наш смех, путаница ее волос, блеск реки между тополем, высоким до ужаса, и неровно сточенным углом дома (непрерывный набор ангельских профилей). Мы склонились над нашими сумками, и, как только должны были столкнуться висками, она выпрямилась с пустыми рука-

ми. Оказалось, что Шерстнев уронил Юлину сумку по ту сторону забора и теперь мечтательной поступью отправился за ней через улицу.

— А знаешь, что делает горноста́й в руках благородной дамы? — такова моя манера внезапно делиться курьезными догадками.

— Кажется, он мог исцарапать ей все руки, — вглядываясь в блеск реки и слишком уж серьезно ответила она. — Не представляю, как его могли приручить.

На остановке Шерстнев признался мне, что давно хочет кое-что заготовить и ему требуется пойти на поиски ларька. Мы снова остались наедине с Юлией, и я посмотрел в землю, чтобы собраться с силами и как-то пережить это новое мучительное уединение. Я понимал, что она опять вскользь ответит на мой вопрос, если я его придумаю, и не к чему будет прицепить новое добавление, и вдруг она быстро и прямо заговорила сама.

Казалось, что все вокруг завешано ее волосами, и слышался какой-то сладкий запах духов, не со стороны Юлии, но из моей собственной головы — на выдохе, в зудящей точке вотума у кончика носа. Я потерял мотив, вызвавший эту головокружительную речь. Она внятно и подробно спешила рассказать о себе все.

О детстве в северном городе — таком новогоднем и диком; о том, как долго и бесплодно ребенок разбивает кедровые орешки чесночницей, пробуя иногда на зуб самые увертливые; о первой пробе алкоголя — сразу полной бутылке шампанского; совсем интимное признание в любви к Платонову и Шёнбергу; о том, как тяжело и пусто ей было переживать полугодовые рабочие командировки отца — помощника капитана, ныне отставного; о добрейшей маме и потешном двоюродном брате из Одессы; о том, как прошедшим летом ей сладко читалось на даче; о мечте завести какого-нибудь странного зверька или большую собаку; о ненависти к балету и бледным чернилам в шариковой ручке.

Если бы в дальнейшем подобные приступы обстоятельно нарциссизма были постоянны, мне бы могло казаться, что я услышал не один монолог, а бесчисленную серию откровений, из которых наспех выхватываю теперь что только подвернется. Но в том-то и дело, в том-то и дело, что тогда, за единственный короткий раз, в первый день нашего знакомства, она выдала о себе ровно столько, сколько я мог бы узнать, если бы уже давно был ее другом. Казалось, этого невероятно много. И больше никогда я не слышал от нее мгновенных избыточных рассказов, какой сложился (и таинственный умиротворенный Шерстнев уже крутился рядом) перед ее отъездом домой, как сон, который успеваешь присниться до самого своего конца в момент пробуждения, когда уже было объявлено кем-то требовательным и бодрым, что все-таки придется вставать.

Как только ее троллейбус тронулся и затанцевал, в нем сразу включился сильный, как в бальном зале, мазурочный свет. Она дошла до середины салона и выбрала среди свободных сидений одно, вместе с волосами взмахнула нам квакающей ладошкой, — не садясь, плавным оборванным кругом всего тела поправила волосы и опять помахала всеми лучами своей спящей пятерни. Вот тогда я впервые тяжело и обреченно вздохнул.

У поэта Шерстнева была необъяснимая тяга по вечерам потягивать крепленые вина на пыльных затоптанных скамейках. Когда только он успевал писать столько стихов? Он говорил, что это удавалось на обратном пути в трамвае... Мы добрались до нашего любимого сквера, и как раз перед нами из-под желтой взъерошенной ивы уходили школьники. Шерстнев сладострастно коптил зажигалкой пластмассовую пробку, размягчая ее со всех сторон так, чтобы она свободно снялась со звуком влажного поцелуя. От нагретой пробки пахло барбариской, а из ядовитой пустоты горлышка несло резиной. Вокруг скамейки были рассыпаны художественные сокровища — коллекция по-разному искаженных и по-разному втоптанных в землю железных пробок, несколько пробок пробковых, горсть

выдохшихся зажигалок, образцы скромной табачной полиграфии. Шерстнев обычно молча попивал из бутылки приторную жидкость, иногда и я делал глоток. Бывало уныло, я мог что-то долго и бесцельно рассказывать, Шерстнев — без советов, без вопросов — мутно всматривался в самых дальних, самых неразличимых прохожих и тяжело кивал головой, все веселее и спокойнее шурясь в сумерках.

Сейчас он опять молчал. Не было смысла спрашивать его о Юлии. Если Шерстнев чувствовал посторонний интерес к чему-либо, то скорее пускался в философские предостережения, никак не связанные с темой, вызвавшей любопытство: «Скоро ты сам устанешь от этого, поймешь, что ничего нельзя как следует знать...» Он был похож на египетского жреца, охотно напоминающего о смерти, — неперменного участника светских пиршеств.

Ночью мне было легко и трудно, я не мог заснуть. Шторы я обычно раскрывал на ночь. Когда перестали грохотать трамваи, световые ножницы от встречных ночных фар стригли тени деревьев на потолке над шкафом и прозрачный студень светлой ночи колебался внутри комнаты, от пыльных пятен стекла в его плоти сквозили более плотные световые призраки. Как это было в детстве, я снова старался убедить себя, что мохнатая голова викинга или Минотавра сквозь прутья решетки бросит внезапную тень на ближайшую ко мне стену. И, испуганно улыбаясь, ждал особенных снов, которые все еще идут ко мне.

III

Мое трагическое свойство — ватный колодец памяти с глубиной и состоянием дна для меня неизвестными, что сказывается на моем восприятии многих свойств мира. Я сложными способами признаю знакомых, но лица киноактеров забываются до их нового явления. Телефонные цифры для меня на одно лицо, зато я улавливаю адреса, звучащие в кино-

фильмах или встреченные в книге. Вообще сор, окружающий выдуманных героев, хранится мной почти без труда. Эти мелочи, эту ерунду, которую никак нельзя сопоставить с настоящей памятью, я собираю горстями. Но все, что касается подлинных имен, живых человеческих слов, готовых фраз, цитат, слов другого языка, все это бесконечно летит в колодец, и я не слышу отзыва окончательного приземления. На память жалуются все люди, и прав Ларошфуко, замечая (цитирую по детской записи, прирученной при помощи квадратного персикового блокнота), что почему-то никто при этом не жалуется на недостаток ума.

В школе мою память пытались воспитать, мне повезло с классной руководительницей, которая вела чтение и русский язык, вела их так, что оба предмета — с одинаковым чудом и информативностью — превращались в сказочный театр. Возможно, это неуместно для современной сцены, но наша Тамара Владимировна использовала дребезжащие завывания, заламывания рук, скачки в сторону, умоляющий шепот и такие роскошные паузы, что с тех пор я остаюсь холоден ко всем ухищрениям подлинного театра, но умею читать и воспринимать язык особыми всплесками охлаждения и жара в легких. Впрочем это никак не касается других языков. И поэзии — ведь, как говорила Тамара Владимировна, восприятие стихов происходит неожиданно, мгновенным взрывом, когда они уже обкатаны в нашем сознании. Одним словом, их необходимо заучивать... А этот процесс для меня возможен лишь в своей безгрешной условности.

Движение запоминания строится у меня по всем древним правилам, я знаю тысячи греческих ухищрений, все эти лунки в стене и трещины на колоннах, в которые оратор вкладывает отломанные мякиши речевых сегментов, чтобы потом, мысленно повторяя путь по знакомому проходу в любимом портике, свободно излить на восхищенного подсудимого обвинения в политической измене. Я свято соблюдал маршруты по знакомым путям, и без стыда признаюсь, что подобные улов-

ки всегда помогали мне сносно отвечать урок. Я аккуратно обходил все тайники, собирал лежащие в них запасы, называл их вслух и тут же проглатывал. Лучше всего мне удавалось использование внутренних шагов по своему домашнему коридору (пальто, плащ, детская вешалка в виде тощей таксы, по другую сторону — каретный светильник, зеркало с черными завитками...) или прогулка по дорожке на даче, но все это само по себе требовало баснословных усилий. Легче получалось заучивать заданный параграф по рисунку класса с сидящими за партами одноклассниками с навсегда определенным местом (и нередко позой) для каждого. Я придумал хороший маневр, чтобы не обременять память лишними усилиями в момент ответа и не беспокоиться о том, что мной пропущена какая-то домашняя мелочь. Выходя к доске, я попросту адресовал каждую фразу стерильного для себя текста двойной цепочке невнимательных рожиц, и, если кто-то отвернулся или отсутствовал, меня это не сбивало, его место было ненадолго занято пустой фразой. Какой именно и кто из одноклассников символизировал ее, уже не знаю, не могу привести примера. Хотя предполагаю взрыв бессвязных фраз о полезных ископаемых в Забайкалье, хоругви Александра Невского, о неустойчивой валентности ионов на каждом лице, когда в старости, еще более склеротической, открою школьный альбом. Может, как в случае возрастного перехода близорукости в дальнозоркость, и у меня пойдет волнующая прорва воспоминаний. Я начинал с первого ряда и редко доходил до второго, отправляясь с пятеркой на свое место для прилежных учеников в начале ряда, идущего вдоль окна. В своих ответах я редко использовал этот ряд, поэтому треть моего класса так и осталась за моей спиной, где обычно бесшумно сидела.

Моя учительница во многих отношениях была педагогически наблюдательной и предупредительной — она рассадилась класс так, чтобы шумные и быстро отвлекающиеся лодыри оказались на виду и подальше один от другого и ни одного визуала рядом с окнами. Меня изводило то, что близко к окну

сидела равнодушная к листве и пешеходам скрипачка. Я забывался при виде чужого движения, в котором была сладкая нота, вал неуловимых изменений, которых никто не обязан был помнить (дома я часто стоял у окна и с улицы иногда кивал таким же наблюдателям, в основе своей престарелым). Учительница быстро опередила препятствующий моему развитию недуг. Ведь мерцали во мне некоторые способности — и я всегда (обычный повод для подтрунивания друзей), даже в университете, делал уроки.

Эффективнее всего работало одно домашнее изобретение. Вместе с матерью мы собрали пеструю пародию четок, состоящую из четырнадцати неповторимых пуговок, деталек и бусин с гранеными поверхностями или странными формами. Вся эта туземная россыпь нанизывалась на тонкий шнурок, и если начинать от узла, то три-четыре полных круга могли быть отличным подсказчиком, если держать руку в кармане и редким незаметным толчком ногтя большого вдоль скрученного указательного переходить от одной фразы к другой. Тамара Владимировна почему-то не допускала, чтобы рука оставалась в кармане, и тогда проворные пальцы двух рук встречались за моей спиной на той или иной примечательной на ощупь строчке. Учитывая сакральное число частей этого набора, неудивительно, что я особенно блистал знанием сонетов и «Евгения Онегина».

Сначала я совершал довольно сложную работу, бессмысленную, но, как это кажется теперь, в ней было что-то художественное. Я старался установить хотя бы интуитивный контакт с каждой строчкой стихотворения и потому подбирал для нее особую пуговку, и только после окончательного распределения, взвешивания и проверки на совпадение цвета я нанизывал свою бижутерию на шнурок в определенной последовательности, которая могла совпадать только с одним стихотворением в мире, и один раз я с одинаковой ясностью мог исполнить его по часовой стрелке в двух вариантах, то есть хотя бы даже в обратном порядке стихов, — стоило только

повернуть круг четок. И порядок, обратный заданному, иногда путал моих слушателей своей стройностью:

Не оживляла полотна
Узором шелковым она,
Не знала игл, склонясь на пальцы.
Ее изнеженные пальцы
Мечтами украшали ей
От самых колыбельных дней
Течение сельского досуга.

Плоский круг четок — двухмерен. Когда я исполнил это наизусть в классе (наугад выбранный повествовательный отрывок из романа), это был первый случай такой ошибки. Мои одноклассники продолжали зевать, мальчишеские локти разъезжались по партам, а девочки сосредоточенно штриховали лепестки бантиков у большеголовых принцесс. Только Тамара Владимировна, не я сам, заподозрила подвох и с какой-то восторженной грустью восстановила правильный порядок после урока. Ее удивило то, что я совершил некоторое случайное передергивание в двух окончаниях. Моя учительница, выслеживавшая мои проблемы (которые я до последнего пытался держать в тайне), указала мне надежду на то, что неосознанно я все-таки предвкушаю смысл в стихотворной метели и довольно точно передаю свою вольную трактовку интонационной грамматикой. Нимало не странно то, что именно этому случаю я обязан своим профессиональным выбором.

Вскоре, из-за соображений времени, мне пришлось отказаться от лишних усилий, и выяснилось, что однажды заданная последовательность бус и пуговиц, которую я с тех пор не менял, годится для любого запоминания. Можно не верить, хоть это безобидный предмет гордости, но я стал тратить на акт заучивания одной строки — четырнадцать секунд, то есть семь раз неспешно повторял ее вслух, наставляя холодную пуговку задержать это в своем цветном стекле. Благо,

что цеплять строки по смыслу мне было незачем и каждая из них закатывалась в память, как бревнышко, в семь оборотов. Вскоре я достиг того, что вовсе перестал нуждаться в тактильной помощи моих четок, слишком оттягивающих карман и слишком вызывающих постороннее любопытство. Усманов, единственный явный татарин в нашем классе (обладатель однообразных четок, крепко пахнущих клеем и рыбой), частенько обращался ко мне на тайном языке, и я делал вид, что понимаю его, потому что это тут же вызывало восторженную зависть одноклассников и было похоже на игру в шпионов.

В мысленном представлении, которое требуется постоянно освежать видом оригинала, я держу четки перед собой и, продвигая взгляд по кругу, лучше вижу их форму, и особенно мне нравится добавление нового отличительного параметра — цвета. Их сохраняет мой письменный стол, чтобы можно было подсказывать правильную последовательность деталей, которая слишком часто разваливается в моей голове, хотя я всегда могу собрать ее заново с помощью любой из своих записных книжек. Одна страница, как распределение часовых поясов в ежегоднике, заполнена этой описью.

Вот она (с благодарными уточнениями):

- 1) **желтая пуговица** (кое-где облупилась краска — есть прозрачные островки) с условной розочкой, похожей на ключ для смены сверл у электрической дрели. Маленькая петелька снизу;
- 2) **деревянный желудь**, полированный, с продольным желобом и двумя дырами на дне ямки (шнурок продет в одну из них, потому что в двух одновременных отверстиях застревают нить);
- 3) **красный пластмассовый рубин** с рассеянной нитки бус (пронзен насквозь);
- 4) **военная пуговка** с потускневшей звездой;
- 5) **черная пружина**, четыре с половиной витка и завершения острые, как у гвоздей;

- 6) большая, как блюдо, **прозрачная пуговица** с перломатовым переливом и четырьмя просветами, один забит шнуром (украшала «любимый халат» матери в домашнем предании);
- 7) **алюминиевая муфта** с тусклой толстой стенкой (мелко исчерчена);
- 8) **плоский серый голыш**, косо просверленный по центру радиуса (и есть у края белая складка);
- 9) **голубой шарик** (маленькая тесная дырка) — свинченые вместе дырявые половины с детской куртки (капюшон? поясок?);
- 10) **серебряная монета** с квадратным окном в центре (Дальний Восток);
- 11) **оранжевая пуговица** из костной муки с декоративным гербом (на обороте выпуклое брюшко продырявлено вскользь);
- 12) **можжевельная трапеция** — часть ароматного браслета с недолговечной резинкой (со временем стерлись когда-то точные углы);
- 13) **граненый камешек из серебра** (червленый куб с просветом в смежных гранях);
- 14) **стальная раковинка улитки**, кулончик с нарочитой петелькой.

Тамара Владимировна, умудренная одной только счастливой отвагой, боролась с моей диковатой памятью исключительно при помощи поэзии Серебряного века. Ее излюбленные рыцари — служители особой веры, апостолы и миссионеры — были преимущественно особами женского пола, они бесстрашно низвергались в подвалы моего сознания, чтобы разыскать и просветить глухих идолопоклонников Мнемозины, строящих путаные катакомбы под аренами города.

Если с Владимиром Набоковым все просто, — ведь не случайно знатоки говорят, что как поэт он исчезает перед собственным гением в прозе, то — скажи мне это же кто-нибудь про Пушкина — я с радостью соглашусь.

Грешен же я в следующем. Я легкими кругами укладываю стихотворение на мои разнокалиберные четки и в течение нескольких дней могу без запинки произнести его, не стесняясь никакой публики, если она будет снисходительна к моему угловатому скандированию. Но когда оценка была получена и если теперь я переношу заученные строки из отдела упаковок под праздничную лампу подлинного интереса, под оберткой нечего обрести, — все исчезло. Все эти игры бесполезны для того, чтобы я хранил стихотворение в памяти бессрочный отрезок жизни, например до того момента, когда мог бы процитировать его в научной статье или перед аудиторией, если таковая у меня соберется. Так и номер чужого телефона я запоминаю вплоть до первого использования и оказываюсь в безвыходном положении, если звонок сорвался, а на аппарате нет функции повтора. И здесь процветает особая печаль моего положения, ведь постукивающая уловка никак не дает мне протиснуться в самый смысл стихотворения.

В школе я так и не дошел до стадии хотя бы приблизительного восторга перед поэтической речью, все рифмованные строки были для меня на одно лицо. И хотя я стал студентом-филологом и мог вычислить стихотворный размер, развить метафору, ухватить хвост ускользающей темы, вызвать одобрительный кивок педагога, — поэзия не трогает меня ни в каком виде, так, например, как чтение великой прозы — с изменением кровяного давления, задыханием и всей внутренней пантомимой, немного имитирующей жесты Тамары Владимировны. Как только она ни старалась своим бесстрашным чтением, не оставляющим шансов цинизму хулиганов, приближать меня к подобию понимания, внутри своего читательского опыта ни с царственной Цветаевой, ни с одержимой Ахматовой я не достигал просветления.

В результате этих поэтических подвигов у меня выработалось более стойкое уважение к герметичному содержанию поэзии, чем, скажем, к религиозным письменам, кото-

рые я обычно понимаю. Русское стихотворение для меня что сутра Корана, выполненная превосходной арабской вязью: я готов любоваться прямоугольниками его строф с рваным правым краем, который, на мой вполне адекватный слух, прекрасно выровнен рифмовкой. Я могу понять Пастернака и Маяковского на уровне их формального изящества, но все что там, внутри, погружает меня в холод уважительного отстранения, как буйный диалог двух сошедших с ума ученых-иностранцев, специалистов по языку йоруба или термодинамике (или только монолог одного из них, произнесенный другому — порождению зловещей болезни). Конечно, я продолжал ждать откровения от русской поэзии (выкрутасы моей памяти не позволяли мне прилично изучить какой-нибудь другой богатый на поэтов язык) и безрезультатно заглядывал во все домашние книжечки, где есть оборванные строки и много воздуха на полях. Меня часто видели с томиком у окна (строка — и взгляд на проходящих, чтобы не остаться без впечатления), распластанные книги пылали именами поэтов на письменном столе, на краю ванной, на подушке. От этого я прослыл среди домашних большим любителем поэзии, отчего все чаще подарки, имеющие по праздникам малейший смысл, заменялись новыми стихотворными изданиями. И если моя память еще была под подозрением у родителей, — что-то они о ней знали, — то недуг полной поэтической невосприимчивости оставался моей тайной.

Существуют стихи, обретение которых происходит на глубинном, интуитивном уровне, и, может быть, лучше для них, если они избегают нашего сознания. Когда я захожу об этом разговор с более счастливыми читателями, то мои прозрения насчет животрепещущего Ломоносова, сдержанного Есенина, страстного Бродского и многих других, кого я, кажется, начинаю уже, начинаю правильно чувствовать, подтверждаются этими людьми с нормальными человеческими способностями. Но у меня нет главного — трепета!

Прости, Шерстнев! Никогда я не понимал твоих творений, милый поэт, и даже в дружеском откровении я не смел признаться в своей беде, но лишь самозабвенно повторял общий медитативный кивок твоего собирательного читателя.

IV

Через несколько дней после знакомства с Юлией во мне тяжело качалась мутная и сладкая грусть. Я брел в университет через футбольное поле, на котором разминались игроки, выправляя майки, затягивая шнурки, уже начиная дышать паром.

Бог помнит, как я проживал эти дни. В то время я неизменно много читал, вел дневник (на тот момент — ни слова про Юлию и ее интерес к ветхому). Косица нашего прошлого сама собой расплетается на светлые, или сумрачные, или воздушные, или тяжелые пряди, и целое открытие — что кое-какие события, которые помнились в чуждости друг к другу, происходили на самом деле одновременно. Так удачливому туристу открывается, что и знаменитый проспект, и помпезный памятник, которые ему не терпелось увидеть, собраны в одном месте, что полная голубей площадь находится через два дома от обсиженной этими же голубями скульптурной группы и фонтана.

Только в те несколько дней уже затянулась, параллельно привычно обставленному времени, какая-то все замедляющая и раздражающе неуютная новость. Что-то похожее, может быть, испытывает квартирант, от которого прятали одну неоплаченную комнату, а потом вдруг из ленивого альтруизма эту комнату отпирают — пустая, гулкая коробка с дохлой паутиной вокруг туманного окна. И серые шерстяные бульденежи вдоль стен. Квартиранту нечем эту комнату заполнить, он взялся было переносить туда диван, но проем противится, устроил застолье, но веселая болтовня гостей лучше слышна на балконе и в жаркой кухоньке. И вот время от времени он

заглядывает в эту даровую комнату и осторожно обходит ее, будто боится упасть. И — что интересно — эта комната определит потом все воспоминания о целом периоде жизни и только она из всей истории кратковременного найма попадет в сны.

Я смутно догадывался, что состояниям, подобному моему, обязана мировая лирика, и поэтому меня тревожила та ледяная пропасть, которая отделяла меня от древнего и, может быть, утомительного знания. Никак не прояснялась и отказывалась назваться эта тоскливая и бледная немота в бесчувственном к скольжению времени сознании. Меня пугала не новая раздражающая и тоскливая болезнь, а мое спокойствие внутри этой тоски: больной лихорадкой прохладен и не в бреду.

Моя начитанность позволяла мне сравнить это настроение и с разного рода физиологической мукой, и с разочарованностью в чем-то. Не то это становилось новым витком юношеского плотского беспокойства, которое тем не менее сохраняло при мне свою прежнюю свербящую неуютность. То мне казалось, что так приходит известная по утреннему Шерстневу неотзывчивость похмелья; однажды я и сам слабо испытал это чувство каким-то сухим безрадостным утром. Никакого сходства. Но самое главное, что я не смел пристроить этот перистый и слегка шатающийся мир ни к чему известному, ни к каким понятным мне краям.

Не требовался улыбчивый опереточный доктор, чтобы напеть мне, что я болен светлой и неизлечимой болезнью. Беда моя была мутной, нетвердой — вот-вот можно было оторваться от нее, — и она никак не связывалась с образом девушки, знакомство с которой состоялось недавно, третьего дня. Наверное, я почти осознанным усилием удерживал в себе это состояние, — из любопытства, из жалости, из невозможности представить себе мир без этого именно чувства. А оно испарялось, кривляясь. О Юлии к тому моменту я почти уже ничего не помнил.

Начало учебы все-таки казалось большой радостью, которая обещала быть долгой и, может быть, уже непрерывной.

В первый осенний день я был счастлив, как первоклассник. Это вспыхнуло во мне, конечно, в ту минуту, когда я прошептал мимо (наконец-то мимо) своей школы на троллейбусную остановку. Студенческие занятия начинаются на час позже школьных, поэтому я взглянул на далекий (в общем-то, всегда чужой) праздник. Во дворе школы (больше не имеющей ко мне отношения) с безрадостной строгостью были построены сияющие дети. Роты отличались ростом. Казалось, что в периодичности бантиков и цветов есть какая-то строевая директива. В этом было бы что-нибудь зловещее, если бы эти ряды не волновались, если бы не бегал постоянно кто-нибудь, если бы детский гул не перекрывал слащавые детские марши, скрипящие из вынесенных на улицу динамиков, и если бы я не шел мимо. Даже в лужах попадались цветы. Шесть старшеклассниц в торжественной прогулке занимали всю ширину улицы, и не костюмами, а осанкой и выражением лиц они все-таки доносили ощущение праздника.

Первая же лекция, которая состоялась в университете, не отвечала никаким невольным ожиданиям. Это была лекция по мифологии завораживающей преподавательницы, Сони Моисеевны Зелинской, которая ожесточенно кашляла и курила при нас, продолжая говорить гипнотизирующим и обновляющим хрипом. Она сразу объявила, что знания, полученные нами в школе, придется забыть, как потом во взрослой жизни, может быть, придется отбросить навсегда эти университетские откровения. Ее глаза безболезненно буравили нас из-за старых плотно пристроенных на лице очков (среди университетских преподавателей я вообще не помню классического жеста поправления оправы, при помощи которого люмпен высмеивает интеллигента). Хотелось вольно оглядеться, протянуть праздник, но эта лекция сразу же заставила себя записывать, и через полчаса бешеной стенографии сладко ломило пальцы. Это был урок ужасающего встряхивания мира и абсолютно непредсказуемого взгляда на вещи, казалось бы навсегда исчезнувшие. Зелинская вольно шутила, извиняясь за то,

что ей достаются в основном девичьи аудитории, но тут же с площадной двусмыслицы уходила в страшную глубину. Многие впадали в ступор, кому-то хотелось спорить с ней и защищаться, и она терпеливо ждала понимания того, что объясняет всего лишь обрывки древнего сознания, которые куда прочнее нашего разорванного или заемного мировоззрения, а потому так похожи на истину. В строительстве устойчивых структур из этих самых обрывов ей не было равных. Она настоятельно напоминала, что выбранная нами профессия по части болезненной и грязной правды ничуть не чище медицинской.

Второй уже была лекция историка, который очень задорно рассказал свою биографию, описал семью и нажитый быт, а после потух, перейдя к своему предмету. Правда, в течение этого же семестра ему удалось оживиться, когда, поплутав среди темных дат, он поспешным броском обратился к советской истории. Этот лектор напомнил стойкую выучку, с которой все мы привыкли пережидать разморенное безделье, называемое в начале жизни «школой». Десять лет — это больше, чем половина на тот момент прожитого, но они не образовывали ничего, кроме костной мозоли на любознательности и нечеловеческой усидчивости.

Зелинская была первой, и от этого сложилось экстатическое ожидание, из-за которого я еще долго не лишал студенческую работу неподдельного интереса, хотя уже со следующего дня понял, что ленивая безалаберность и курение со старшекурсниками — единственное, что заставит теперь приходить на учебу хотя бы ко второму акту. Меня радовала спокойная, бесстрастная надежда, что университетские знания действительно проверены и необходимы и это будет отличаться от неврастенической медитации школьных уроков. Хотелось стать очень внимательным и аккуратным студентом, тем более что последние годы школы вовсе не приносили достойных новостей и совершенно развратили мою просвещенность. Я начал читать греческие трагедии и немецких философов и думал теперь, что всю жизнь буду заниматься только милыми и полезными для

моего сознания вещами. В первые же дни учебы я научился курить и дважды пережил пивное отравление.

Третьекурсник Штурман, именитый музыкант из группы Burning Bright, которая постепенно доводила осмысленную музыку до скорости света, щеголял на крыльце красной пачкой «Dunhill» и при моем приближении автоматически выдвинул передо мной плоский ящичек, одно отделение которого еще покоилось в золотой фольге, а в другом слишком одиноко маялась моя первая сигарета. Вкус орехового масла сложился из нескольких глотков дыма — прозрачного горького зефира, растворенную мякоть которого мне сразу удалось выпустить из ноздрей медленным потоком, повторяющим плотность и изгибы Млечного пути. Присутствующие при этом знатоки похвалили меня за мгновенный навык выдыхать дым через нос. Штурман, светло облегченный от скупости, радостно сетовал, что воспитал на свою голову еще одного сигаретного снайпера. Сильный ореховый привкус не проходил в течение всего дня, и после того, как я перекусил пирожками в университетской столовой, и пообедал дома, и в ожидании ужина с сосредоточенностью гурмана я все еще находил под языком оттенок того чудного послевкуся, которое на небе было уже совсем отчетливо. Наутро я позволил себе купить неуклюжего гиганта — пачку «Беломорканала», будто полагая, что именно большие квадратные пачки отвечают моим кулинарным предпочтениям, и уже с жадностью курил со всеми на крыльце, с недоумением осознавая, что непривычная набитость кармана чем-то сыпучим и ломким по-настоящему мешает и неэстетично достраивает фигуру.

Встречались преподаватели, с которыми мы знакомились не сразу, но уже видели их в коридорах. Светлый маленький Марцин, порхающий и светящийся в своих лекциях по зарубежному романтизму. По-чеховски бородатый Медведенко с прозрачным и ясным взглядом просветленного народника — специалист по XIX веку. Ветрушин с пушистой рыжей шевелюрой, источник грустной недосказанности и грубоватых

парадоксов, брезгливо тоскующий в мире, бесконечно далеко от полного понимания джазовых рулад. Величественный и импозантный Ушаков, специалист во всех ручейковых проявлениях интеллектуальной словесности, веселый ученый, рассудительный балагур. Надменная и справедливая Тенечева, по всем правилам застольного этикета ломающая пальцами обсахаренную плюшку за стоячим столиком в столовой. Ехидная и умудренная Иволгина, неторопливо идущая с бодрым уклоном вперед и с неизменным кулаком на поясище. Горячая и стремительная Федорова, преподающая методику, со своим умением в самый холодный день ворваться в аудиторию — с легким опозданием из-за огромного количества подопечных школ — и тут же взломать свежезаклеенное на зиму окно, торопясь отдышаться. Экзотичная и сложная Кираскова, знаток таинственной современности, способная терпеливо выслушать самый нелепый и сколь угодно долгий ответ и обстоятельно повторить его в тоне назидательного исправления. На кафедре русского языка служил строгий и сбивчивый Кадочников, обладатель профиля Казановы из фильма Феллини; профессор Арахисова ухитрялась третью часть года носить валенки и походить на обычную недовольную старушку; лучистая Горностаева, автор знаменитого учебника, скрывала глубокую старость под гладким и свежим обаянием.

Двух дней хватило, чтобы почувствовать себя студентом и перестать увязывать прослушанные лекции с каким-либо определенным временем года. Я почти не мог вспомнить Юлии, но уже хорошо знал, как изощренно это принуждает думать о ней. Слишком торопливы в нас самые несправедливые ощущения обреченности. Я плохо помнил все мгновения нашей прогулки, за исключением окончания вечера с Шерстневым, — потому, возможно, что этот вечер так потом и продолжался все теплое осеннее время и, кажется, на том же месте, на той же обсыпанной пеплом и шелухой скамейке.

В кино есть такой раздражающе-простоватый приемчик, когда нужное воспоминание — например, простоволосая воз-

любленная — замедленно плывет в размытом кадре, и, чтобы его включить, герою необходимо только вытянуть задумчивый и грустный взгляд прямо перед собой (даже не вбок — что могло бы намекать психологу на характер припоминания).

Мог ли я как-нибудь так же представить себе Юлию? Боюсь, нет. Но, как бывает со многими, я ошибочно мечтал о кинематографических свойствах памяти. Я так верил, что кино и все без исключения искусства исходят из свойств нашего мышления, а не из собственных возможностей. И приходилось поучать себя сквозь боль: раз Юлия не плыла у меня перед глазами в хорошо отфокусированной ретроспекции, значит, она не была той возлюбленной, которую я должен был помнить.

В очередной раз я подходил к своему университетскому корпусу, похожему на фабрику или управление большого скучного хозяйства, и понимал, что Юлия вполне может прятаться среди всех, кто шел вокруг меня, кого я равнодушно обгонял. Мне мечталось — как самому воспаленному игроку казино верится в первый пришедший в голову номер — что, стоит только обратиться наугад к любой из этих девушек, она непременно окажется Юлией и узнает меня. Но я только нерешительно брел, выращивая в себе что-то тягостное и колючее. Когда кто-то догнал меня — одна из наиболее общительных однокурсниц, губастенькая хохотушка с неважной дикцией и опущенными плечами — я так тяжело, так пусто поздоровался с ней, что она тут же, нелепо вцепившись в легкий капюшон, будто снимая разорванные бусы первоначальной радости, побежала вперед.

На поле, которое я пересекал, заколотили в мяч, потом пустили его за бетонную стену, из-за которой он напоследок подпрыгнул, радостно оглядываясь и убегая. Несколько игроков тяжело уперлись в коленки и стали похожи на вратарей. Один игрок изучал круглые окна на верхней кайме бетонных щитов — как раз величиной с мяч, другой — в колышущейся мятой майке — сосредоточенной трусцой отправился в обход,

в то время как блудный мяч сам собой решительно вернулся на поле, и вратарь, поймав его, хозяйственной перчаткой стал стирать с него известку.

Меня снова звонко и светло окликнули. Я радостно обернулся, потому что был уверен, что с первой однокурсницей обошелся неучтиво, и это слишком уж мстительно заставляло бы меня и дальше грустить, быть бездумным. Радость перестает быть натужной, если поверить в ее необходимость. С кем-нибудь надо было теперь быть простым и вежливым.

— А, это ты! — разочарованно испугался я, так как это была не очередная — малознакомая, рассеивающая, отвлекающая от тоски — встреча.

Она испуганно смешалась, улыбки я опять не разглядел, удивленно пошла рядом. И, хотя у меня все прошло, хотя я понимал, что эта минута — все искупает и видеть Юлию мне всегда будет необходимо, я не знал, что теперь сказать ей. Я невольно подглядывал за ее волосами со светлыми концами и светлыми прядями. Закругления ее надбровных дуг были безупречно гладкими и слегка подергивались аквамарином. Кажется, этот эффект совсем не нуждался в косметических тенях. Когда она поднимала на меня недоверчивые глаза, верхние веки собирались в двойную тонкую полоску, а когда опускала — на них проступали лилово-мраморные жилки. Как же хорошо можно все это выучить, если смотреть урывками.

Я понимал с хрустальной простотой, что мне во что бы то ни стало (о, сколько коротких слов, похожих на сыпящийся в руки выигрыш) необходимо сейчас же навсегда запомнить этот бледный облик. Мне странно рассказывать о своих проблемах с памятью. Тогда я особенно хорошо понимал, что мой внутренний приказ не сработает, я опять все растеряю, и видел только эти бесподобные частности удивленного лица.

— Я сегодня пересдаю, — с обреченной шутливостью сказала она.

Мне удавалось подобрать глазами все лужицы, которые мы обошли на срезанном крае футбольного поля. Этот край был

украшен почерневшей ленточкой тропы, которую принято было называть «народной». Вот в эти оловянные кляксы, в растоптанные и позолоченные травинки, в размокшие трещины я и смотрел.

— Хотя у меня единственный выход — взять академ и перейти на твой курс.

— Ну, и хорошо, — я поспешил с радостью (думая, что она достаточно извинительная) и округлил на Юлию нелепые и непонимающие глаза. У меня изо рта шел пустой пар. — Тебе надо постараться и добить наконец этот экзамен!

— А может, я этого совсем не хочу? — и она каким-то лебединым зигзагом подняла голову, я видел это краем сдерживающегося зрения.

— Кто же захочет четвертый раз сдавать экзамен?

— Да не смейся ты, — внезапно она стала черствой. — Это только первая пересдача.

Я немного отстал от нее, чтобы перехватить мяч в его новом бегстве, но он только отмахнулся грязным боком от моей нерасторопной пятки и припустил еще быстрее. Казалось, что со стороны поля никто не собирается его преследовать.

— Послушай, — кричал я, догоняя Юлию, — думаю, горноста́я ты в нашем городе найдешь. Но надо представить, как неловко было дамам совершать некоторые гигиенические телодвижения при людях. Не знаю, как художник мог усадить перед мольбертом живого горноста́я, но эти животные идеально быстро ловят блох. И — догадываюсь — горноста́я держали для того, чтобы дама могла спокойно позировать.

Она начала смеяться, но смотрела на меня с грустью. Мы были устрашающе незнакомы друг другу. Вежливая воркотня давала мне хорошие ровные силы, я собирался с мыслями, чтобы понять, как я далек от малейшей возможности начать с ней настоящий разговор. На крыльце нас легко разорвало потоком входящих студентов, и я видел сквозь дверные стекла, что не оглядываясь, каким-то длинным шагом она уплывала от меня, что она поднимает плечи и как-то особенно грациоз-

но сутулится и именно такой она должна исчезнуть навсегда. Клетчатая длинная и теплая юбка со множеством складок по краю. И опять — когда не видно лица — расплывающийся туман волос. Я вовремя вспомнил, что могу еще покурить перед началом пары.

V

Ее лицо по-прежнему легко омывало память, протекая мимо, оно, как позолота, при мысленной попытке разглядеть его, сворачивалось в тонкие обрывки, среди которых я мог проследить остаток улыбки, краешек подбородка. Память — это густое молоко, летящее со скоростью горной речки, с таким же ледяным и шатким, только неразлично каменистым, бродом.

Сейчас мне кажется, что трудность в запоминании дорогих лиц связана с тем, что они подвижны, что даже в памяти они изменчивы, ни улыбки, ни задумчивости нельзя как следует рассмотреть. Тогда я находил в этом верный знак неподлинной привязанности. Я жестоко и сдавленно верил, будто любимое мной лицо будет стоять перед глазами, как все вымышленные вещи, которые постепенно становятся правдой. Вот ее каштановые волосы (я только бездарный рисовальщик), — и мне необходимо разглядеть каждый их завиток (который в голове я неумело превращаю в спутанную штриховку). И все их оттенки, все особенности освещения, каждый отблеск — нет, я не видел их! Я только знал, что должен бы их видеть. По поводу неуловимой грации ее движений, которые мне хотелось копировать и отслеживать, я составил ошибочную теорию, что настоящее запоминание ее пластики должно походить на открытие особой формулы. Что бы могло служить верным лекалом? Характерное для нее настроение или невидимый рисунок определенной линии, по которой могла бы скользить ее рука или подбородок? И все-таки ее жест всегда следовал временному настроению и был душераздирающе индивидуален. В итоге я и не пытался вспомнить его...

Литературно-художественное издание

Леонид Немцев

Две Юлии

16+

*В книге сохранены особенности авторской
орфографии и пунктуации.*

Художественный редактор *Павел Лосев*
Редактор *Аглая Топорова*
Корректор *Антонина Семенова*
Компьютерная верстка *Наталии Ремизовой*

Подписано в печать 12.02.2018. Формат 60 × 90/16
Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл. печ. л. 25,0. Тираж 1000 экз. Заказ

ООО «ИД „Флюид ФриФлай“»
109382, Москва, ул. Краснодонская, д. 20, корп. 2
тел.: (985) 8000 366
www.fluidfreefly.ru
e-mail: fluid@gorodets.ru,
levental.bookshelf@gmail.com
интернет-магазин: gorodets.ru

О чем этот роман? О памяти и воображении. Об индивидуальном счастье. О возможностях прозы. О поэзии как естественном проявлении разума в человеке. О замедлении времени в сознании. Это роман сразу о многом, и его темы кажутся мне близкими к раскрытию именно потому, что не рассматриваются по отдельности. Это книга о такой любви, какую Данте испытывал к Беатриче: восхождение к ней не как к удачной истории, а как к единственной возможности духовного спасения. Мой герой иногда бывает комичен, в книге много по-настоящему смешных моментов и примеров доброй иронии, но целью книги является приход к счастью через настоящее пробуждение разума (не разума софиста, эрудита и скептика, а разума как упоительного мышления в образах). Эта книга работает на то, чтобы к счастью пришел не только воображаемый герой, а мой настоящий читатель.

Леонид Немцев



КНИЖНАЯ
ПОЛКА
ВАДИМА
ЛЕВЕНТАЛЯ



ISBN 978-5-906827-52-4



9 785906 827524